

Персонажи и учреждения, упомянутые в этом произведении, являются вымышленными. Любое сходство с реальными людьми и организациями либо с подлинными событиями не входило в намерения автора и носит случайный характер.

Глава первая

ХОТЬ И НЕ КРАСАВИЦА

Это была нелюбовь с первого взгляда.

Когда поезд отъехал от последней латвийской станции с немелодичным названием Зелупе и, прогрохотав по железному мосту, стал приближаться к российской границе, Николас придвинулся к окну купе и перестал слушать косноязычную болтовню попутчика.

Айвар Калининс, специалист по экспорту сметаны, так гордился своим знанием английского, что переходить с ним на русский было бы просто жестоко, да и, судя по тому, как латвийский коммерсант отзывался о своих недавних соотечественниках, он вряд ли пожелал бы изъясняться на языке Пушкина и Достоевского. С самой Риги бизнесмен упражнялся на кротком британце в использовании идиоматических оборотов и паст перфект континьюэс, называя при этом собеседника «мистер Фэндорайн». Объяснять, что обозначенное на визитной карточке имя Fandorine читается по-другому, Николас не стал, чтобы избежать расспросов о своих этнических корнях — разъяснение вышло бы слишком длинным.

Он сам не очень понимал, почему решил добираться до России таким кружным путем: теплоходом до Риги, а оттуда поездом. Куда проще и дешевле было бы сесть в Хитроу на самолет и через каких-нибудь три часа спуститься на русскую землю в аэропорту Шереметьево, который, согласно путеводителю «Бедекер», находился всего в двадцати минутах езды от Москвы. Однако родоначальник русских Фандориных, капитан Корнелиус фон Дорн триста лет назад воспользоваться самолетом не мог. Как, впрочем, и поездом. Но, по крайней мере, фон Дорн должен был двигаться примерно той же дорогой: обогнуть морем беспокойную Польшу, высадиться в Митаве или Риге и присоединиться к какому-нибудь

купеческому каравану, направлявшемуся в столицу диких московитов. Вероятнее всего, в 1675 году родоначальник тоже переправлялся через эту вялую, поблескивающую под мостом реку. И волновался перед встречей с неведомой, полумифической страной — так же, как сейчас волновался Николас.

Отец говорил:

«Никакой России не существует. Понимаешь, Никол, есть географическое пространство, на котором прежде находилась страна с таким названием, но все ее население вымерло. Теперь на развалинах Колизея живут остготы. Жгут там костры и пасут коз. У остготов свои обычаи и нравы, свой язык. Нам, Фандориним, это видеть незачем. Читай старые романы, слушай музыку, листай альбомы. Это и есть наша с тобой Россия».

А еще сэр Александер называл нынешних обитателей российского государства «новыми русскими» — причем задолго до того, как этот термин прирос к современным нуворишам, которые с недавних пор повадились заказывать костюмы у дорогих портных на Савил-Роу и посылать своих детей в лучшие частные школы (ну, конечно, не в самые лучшие, а в те, куда принимают за одни только деньги). Для Фандорина-старшего «новыми русскими» были все обитатели Страны Советов, столь мало похожие на «старых русских».

Сэр Александер, светило эндокринологии, без пяти минут нобелевский лауреат, никогда и ни в чем не ошибался, поэтому до поры до времени Николас следовал совету отца и держался от родины предков подальше. Тем более что любить Россию на расстоянии и в самом деле казалось проще и приятней. Избранная специальность — история девятнадцатого века — позволяла Фандорину-младшему не подвергать это светлое чувство рискованным испытаниям.

Россия прошлого столетия, особенно второй его половины, смотрелась вполне пристойно. Разумеется, и тогда под сенью двуглавого орла творилось немало мерзостей, но это все были мерзости умеренные, вписывающиеся в рамки европейской истории и потому извинительные. А там, где пристойность заканчивалась и

вступал в свои права бессмысленный русский бунт, заканчивалась и сфера профессиональных интересов Николаса Фандорина.

Самая привлекательная сторона взаимоотношений магистра истории с Россией заключалась в их совершеннейшей платоничности — ведь рыцарское служение Даме Сердца не предполагает плотской близости. Пока Николас был студентом, аспирантом и диссертантом, сохранение дистанции с «империей зла» не выглядело таким уж странным. Тогда, в эпоху Афганистана, корейского лайнера и опального изобретателя водородной бомбы, многие слависты были вынуждены довольствоваться в своих профессиональных изысканиях книгами и эмигрантскими архивами. Но потом злые чары, заколдовавшие евразийскую державу, начали понемногу рассеиваться. Социалистическая империя стала оседать набок и с фантастической быстротой развалилась на куски. В считанные годы Россия успела войти в моду и тут же из нее выйти. Поездка в Москву перестала считаться приключением, и кое-кто из серьезных исследователей даже обзавелся собственной квартирой на Кутузовском проспекте или на Юго-Западе, а Николас по-прежнему хранил обет верности той, прежней России, за новой же, так быстро меняющейся и непонятно куда движущейся, до поры до времени наблюдал издалека.

Мудрый сэр Александер говорил: «Быстро меняться общество может только в худшую сторону — это называется «революция». А все благие изменения, именуемые эволюцией, происходят очень-очень медленно. Не верь новорусским разглагольствованиям о человеческих ценностях. Остготы себя еще покажут».

...Отец, как всегда, оказался прав. Историческая родина подбросила Николасу неприятный сюрприз — он впервые в жизни стал стыдиться того, что родился русским. Раньше, когда страна именовалась Союзом Советских Социалистических Республик, можно было себя с нею не идентифицировать, но теперь, когда она вернулась к прежнему волшебному названию, отгораживаться от нее стало труднее. Бедный Николас хватался за сердце, когда видел по телевизору кавказские

бомбежки, и болезненно кривился, когда пьяный русский президент дирижировал перепуганными берлинскими музыкантами. Казалось бы, что ему, лондонскому магистру истории, до грузного дядьки из бывших партсекретарей? Но все дело было в том, что это не советский президент, а *русский*. Сказано: назови вещь иным словом, и она поменяет суть...

Ах, да что президент! Хуже всего в новой России было кошмарное сочетание ничем не оправданного высокомерия с непристойным самобичеванием в духе «Я — царь, я — раб, я — червь, я — Бог». А вечное попрошайничество под аккомпанемент угроз, под бряцание ржавым стратегическим оружием! А бесстыдство новой элиты! Нет, Николас вовсе не жаждал ступить на землю своего духовного отечества, но в глубине души знал, что рано или поздно этой встречи не избежать. И потихоньку готовился.

В отличие от отца, подчеркнуто не интересовавшегося московскими вестями и до сих пор говорившего «аэроплан» и «жалованье» вместо «самолет» и «зарплата», Фандорин-*films* старался быть в курсе (вот тоже выражение, которого сэр Александер решительно не признавал) всех русских новостей, водил знакомство с заезжими россиянами и выписывал в специальный блокнот новые слова и выражения: *отстойный музон* = *скверная музыка* («отстой» — *вероят., близкое к «sewage»*; *как скрысятить цитрон* = *как украсть миллион* («скрысятить» — *близкое к to rat*, «цитрон» — *смысловая подмена сл. «лимон», омонимич. имитации сл. «миллион»*) и так далее, страничка за страничкой. Николас любил щегольнуть перед какой-нибудь русской путешественницей безупречным московским выговором и знанием современной идиоматики. Неизменное впечатление на барышень производил прекрасно освоенный трюк: двухметровый лондонец, не по-родному учтивый, с дурацкой приклеенной улыбкой и безупречным пробормотом ровно посередине макушки — одним словом, чистый Англичанин Англичанович — вдруг говорил: «Милая Наташа, не завалиться ли нам в Челси? Там нынче *улетная тусовка*».

На следующий день после того, как Николас любовался по телевизору дирижерским мастерством русского президента, произошло событие, ставшее первым шагом к встрече с отчизной.

Блистательный и непогрешимый сэра Александер совершил единственную в своей жизни ошибку. Отправляясь с женой в Стокгольм (поездка имела исключительную важность для ускорения неизбежной, но все еще медлившей Нобелевской премии), Фандорин-старший решил не лететь самолетом, а совершить недолгое, отрадное плавание по Северному морю на пароме «Христиания». Да-да, на той самой «Христиании», которая, по невероятному стечению компьютерных сбояв, налетела в тумане на нефтеналивной танкер и перевернулась. Была чудовищная, нецивилизованная давка за места на плотиках, и те, кому мест не хватило, отправились туда, где догнивают останки галионов Великой Армады. Несмотря на возраст, сэра Александер был в превосходной физической форме и наверняка мог бы попасть в число спасшихся счастливых, но представить отца, отталкивающего других пассажиров, чтобы спасти себя или даже леди Анну, было совершенно невозможно...

Если оставить в стороне эмоции, вполне естественные при этих горестных обстоятельствах, результатом роковой ошибки несостоявшегося лауреата было то, что Николас унаследовал титул, превосходную квартиру в Южном Кенсингтоне, перестроенную из бывшей конюшни, деньги в банке — и лишился мудрого советчика. Встреча с Россией стала почти неотвратимой.

А через год после первого шага последовал и второй, решающий. Но прежде чем рассказать о половине письма капитана фон Дорна и загадочной бандероли из Москвы, необходимо разъяснить одно обстоятельство, сыгравшее важную, а может быть, и определяющую роль в поведении и поступках молодого магистра.

Обстоятельство это называлось обидным словом «недовинченность», которое Николас почерпнул у од-

ного из мимолетных новорусских знакомых [«недовинченность — как при недокрученности шурупа; уотфр. в знач. «недоделанность», «неполноценность»; «какой-то он типа недовинченный» — о чел., не нашедшем своего места в жизни]. Слово было жесткое, но точное. Николас сразу понял, что это про него, он и есть недовинченный. Болтается в дырке, именуемой жизнью, вертится вокруг собственной оси, а ничего при этом не сцепляет и не удерживает — одна видимость, что шуруп.

Емкая приставка «недо» вообще многое объясняла Фандорину про самого себя. Взять, к примеру, рост. Шесть футов и шесть дюймов — казалось бы, недомерком не обзовешь, на подавляющее большинство обитателей планеты Николас мог взирать сверху вниз. Но стоило перевести рост на метры, и выходило символично: метр девяносто девять. Чуть-чуть *недостает* до двух метров.

То же и с профессией. Возраст, конечно, пока детский — до сорока еще вон сколько, но сверстники по одной-две монографии выпустили, а многие уже пребывают в докторском звании, один даже удостоен членства в Королевском историческом обществе. Профессор Крисби, прежний научный руководитель, как-то сказал: мол, Николас Фандорин, возможно, и историк, но *малокалиберный*. Крупных охотничьих трофеев, то есть новых теорий и концепций, ему не добыть — разве что мелких фактографических воробьев настреляет. А все потому, что нет усидчивости, долготерпения и обстоятельности. Или, как выразился почтенный профессор, *мало мяса на заднице*.

Ну не обидно ли? А если у человека аллергия на пыль? Если после десяти минут сидения в архиве из глаз льются слезы, из носа течет, всегдашний розовый румянец на щеках расплзается багровыми пятнами и вчистую садится голос? Да, Николас никогда не был в так называемых странах Третьего мира, потому что там всюду пыльно и грязно! На втором курсе в Марокко на раскопки из-за этого не поехал!

Впрочем, к чему лукавить с самим собой? История привлекала Николаса не как научная дисциплина, при-

званная осмыслить жизненный опыт человечества и извлечь из этого опыта практические уроки, а как увлекательная, завораживающая погоня за безвозвратно ушедшим временем. Время не подпускало к себе, ускользало, но иногда свершалось чудо, и тогда на миг удавалось ухватить эту жар-птицу за эфемерный хвост, так что в руке оставалось ломкое сияющее перышко.

Для Николаса прошлое оживало, только если оно обретало черты конкретных людей, некогда ходивших по земле, дышавших живым воздухом, совершавших праведные и ужасные поступки, а потом умерших и навсегда исчезнувших. Не верилось, что можно взять и исчезнуть навсегда. Просто те, кто умер, делаются невидимыми для живущих. Фандорину не казались метафорой слова новорусского поэта, некоторые стихи которого признавал даже непримиримый сэр Александер: «...На свете смерти нет. / Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо / бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят. / Есть только явь и свет, / ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. / Мы все уже на берегу морском, / и я из тех, кто выбирает сети, / когда идет бессмертье косяком».

Узнать как можно больше о человеке из прошлого: как он жил, о чем думал, коснуться вещей, которыми он владел, — и тогда тот, кто навсегда скрылся во тьме, озарится светом, и окажется, что никакой тьмы и в самом деле не существует.

Это была не рациональная позиция, а внутреннее чувство, плохо поддающееся словам. Уж во всяком случае, не следовало делиться столь безответственными, полумистическими воззрениями с профессором Крисби. Собственно, Фандорин потому и специализировался не по древней истории, а по девятнадцатому веку, что взглядеться во вчерашний день было проще, чем в позавчерашний. Но изучение биографий так называемых исторических деятелей не давало ощущения *личной причастности*. Николас не чувствовал своей связи с людьми, и без него всем известными. Он долго думал, как совместить приватный интерес с профессиональными занятиями, и в конце концов решение нашлось. Как это часто

бывает, ответ на сложный вопрос был совсем рядом — в отцовском кабинете, на каминной полке, где стояла не-приметная резная шкатулка черного дерева.

* * *

Бабушка Елизавета Анатольевна, умершая за много лет до рождения Николаса, вывезла из Крыма в 1920-м всего две ценности. Первая — будущий сэр Александер, в ту пору еще обретавшийся в материнской утробе. Вторая — ларец с семейными реликвиями.

Самой познавательной из реликвий была пожелтевшая тетрадка, исписанная ровным, педантичным почерком прапрадеда Исаакия Самсоновича, служившего канцеляристом в Московском архиве Министерства юстиции и составившего генеалогическое древо рода Фандориных с подробными комментариями.

Имелись в шкатулке и предметы куда более древние. Например, кипарисовый крестик, который, по уверению семейного летописца, принадлежал легендарному основателю рода крестоносцу Тео фон Дорну.

Или медно-рыжая, не выцветшая за столетия прядь волос в пергаменте, на котором читалась едва различимая надпись «Лаура 1500». Примечание Исаакия Самсоновича было кратким: «Докон женский, неизвестно чей». О, как волновала в детстве буйную Николкину фантазию таинственная медноволосая Лаура, сокрытая непроницаемым занавесом столетий!

На столе у отца стоял извлеченный оттуда же, из ларца, фотографический портрет умопомрачительной красоты брюнета с печальными глазами и импозантной проседью на висках. Это был дед, Эраст Петрович, персонаж во многих отношениях примечательный.

А чего стоила записка великой императрицы, собственноручно начертавшей на листке веленовой бумаги всего два слова, но зато каких! «Вечно признательна» — и внизу знаменитый росчерк: «Екатерина». Отец говорил, что некогда содержались в шкатулке и дедовы ордена, в том числе золотые, с драгоценными

каменьями, но в трудные времена бабушка их продала. И правильно сделала. Эка невидаль — «владимиры» да «станиславы», их в антикварных лавках сколько угодно, а вот за то, что Елизавета Анатольевна сохранила старинные нефритовые четки (теперь уж не узнать, кому из предков принадлежавшие) или часы-луковицу бригадира Лариона Фандорина с застрявшей в ней турецкой пулей — вечная бабушке благодарность.

Николасу самому было странно, что он не додумался до такой простой вещи раньше. Зачем копать в биографиях чужих людей, про которых и так все более или менее известно, если есть история собственного рода? Тут уж никто не перебежит дорогу.

Сначала магистр конечно же занялся автографом царицы, который мог принадлежать только Даниле Фандорину, состоявшему при Северной Семирамиде в неприметной, но ключевой должности камер-секретаря. Николас напечатал в почтенном историческом журнале очерк о своем предке, где среди прочего высказал некоторые осторожные предположения о причинах августейшей признательности и датировке этого документа (июнь 1762?). Историки-слависты встретили публикацию благосклонно, и, окрыленный успехом, исследователь занялся статским советником Эрастом Петровичем Фандориным, который в 80-е годы девятнадцатого века служил чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе, а после, уже в качестве частного лица, занимался расследованием всяких таинственных дел, на которые был так богат рубеж девятнадцатого и двадцатого столетий.

К сожалению, вследствие сугубой деликатности занятий этого сыщика-джентльмена Николас обнаружил очень мало документальных следов его деятельности, поэтому вместо научной статьи пришлось опубликовать в иллюстрированном журнале серию полубеллетризованных скетчей, основанных на семейных преданиях. С точки зрения профессиональной репутации, затея была сомнительной, и в качест-

ве епитимьи Николас занялся кропотливым исследованием старинного, еще дороссийского периода истории фон Дорнов: изучил развалины и окрестности родового замка Теофельс, встретился с отпрысками параллельных ветвей рода (надо сказать, что потомков крестonosца Тео раскидало от Лапландии до Патагонии), вдоволь начихался и наплакался в ландархивах, музейных хранилищах и епархиальных скрипториумах.

Результат всех этих усилий не очень-то впечатлял — полдюжины скромных публикаций и два-три третьестепенных открытия, на которых пристойной монографии не построишь.

* * *

Статьей о половине завещания Корнелиуса фон Дорна (еще одна реликвия из черной шкатулки), напечатанной четыре месяца назад в «Королевском историческом журнале», тоже особенно гордиться не приходилось. Для того чтобы разобрать каракули бравого вюртембергского капитана, вряд ли подозревавшего, что из его чресел произрастет мощная ветвь русских Фандориных, понадобилось пройти специальный курс палеографии, однако и после расшифровки документ яснее не стал.

Если б плотный, серый лист был разрезан не вдоль, а поперек, можно было бы, по крайней мере, прочесть кусок связного текста. Но хранившийся в ларце свиток был слишком узким — какой-то невежа рассек грамотку сверху донизу, и вторая половина не сохранилась.

Собственно, у Николаса даже не было полной уверенности в том, что это именно духовная, а не какая-нибудь деловая записка. В подтверждение своей гипотезы он процитировал в статье первые строчки, в которых, как положено в завещаниях, поминались дьявольский соблазн и Иисус Христос, а дальше следовали какие-то указания хозяйственного толка:

Память сия для сына
розумени вудеть
а пѹти на москву не
не дойдешь как тог из
паки соблазнѣ дьяволс
изыщеш и хрста ради
что понизу вѣ алтынѣ
рогожею не имай дѹши

Почтенный журнал по традиции не признавал иллюстраций, поэтому поместить фотографию текста не удалось, а цитировать далее Николас не стал — там шли невразумительные, фрагментарные указания о некоем доме (вероятно, отходившем сыну Корнелиуса в наследство), перемежаемые поминанием фондорновских предков. Если б сведения об имуществе иноземного наемника уцелели полностью, это, конечно, представляло бы некоторый исторический интерес, но куда важнее было то, что прочитывались подпись и дата, обозначенные в левом нижнем углу и потому отлично сохранившиеся:

писанѣ на кроmeshникахѣ лета 190го мая вѣ 3 дн корней
фондорнѣ рѹкѹ приложилѣ

Из этого следовало, что в мае 1682 года (7190 год по старорусскому летосчислению) Корнелиус находился в волжском городе Кроmeshники, где как раз в это время дождался вызова в Москву опальный боярин Артамон Сергеевич Матфеев. Это подтверждало семейную легенду о том, что капитан фон Дорн был близок к первому министру царя Алексея Михайловича и даже женился на его дочери. Последнее утверждение, разумеется, носило совершенно сказочный характер и, вероятно, основывалось на том, что сын Корнелиуса Никита Фондорин долгое время служил личным секретарем графа Андрея Артамоновича Матфеева, петровского посланника при различных европейских дворах.

Статья Николаса заканчивалась предположением, что грамотка, очевидно, была разрублена во время май-